

Джулиан Барнс берется за тему, которая не всякому по зубам, — и достигает поразительного успеха.

The Scotsman

Барнс написал, быть может, лучшую свою книгу последней декады: трехсотстраничное эссе под названием «Нечего бояться»...

Кирилл Кобрин
(*Polit.ru*)

Огромное, на 400 почти страниц, эссе о смерти, куда инкорпорированы анекдоты из барнсовской жизни, байки о его родителях, истории из жизни французских писателей и русских композиторов, воображаемые диалоги с читателями и критиками; много цитат из Флобера и Жюль Ренара (французская литературно-философская традиция всегда была для Барнса удобным интерфейсом, позволяющим размышлять о чем-либо с большей степенью абстрактности, чем обычно принято у англичан). Теоретически «Нечего бояться» можно назвать автобиографией — здесь много очень личной информации об авторе — но, парадоксальным образом, неавторизованной; сам Барнс, во всяком случае, прямо заявляет, что нет, это не автобиография. Барнс все время так или иначе крутится вокруг темы смерти — но не претендует на то, чтобы закрыть тему; это не окончательная-правда-о-смерти или, там, пособие-по-искусству-умирать-достойно; что Барнса на самом деле интересует, так это характеры людей, как они раскрываются перед лицом смерти; а еще — Бог,

правда, память, воображение, лицемерие, искусство. В любом случае Барнс не скрывает, кто он: не просто частное лицо, но писатель, который всю жизнь выдумывал неправду для того, чтобы высказать какую-то Правду.

*Лев Данилкин
(Афиша)*

Барнс — удивительный писатель. Безусловно, английская литература пестрит именами, заслуживающими, как минимум, такого определения, хотя зачастую эпитеты «талантливый» или даже «гениальный» тоже будут уместными. Но Барнс в первую очередь удивительный. Ему свойственен такой непостижимый лаконизм, от которого захватывает дух. И этим небольшим количеством страниц он может сказать столько, сколько иные не выразили бы, написав произведение размерами с «Войну и мир».

LiveLib.ru

Потрясающе!.. Пожалуй, это самая искренняя книга в писательской карьере Барнса — и самая забавная, несмотря на всю серьезность темы.

Daily Telegraph

Восхитительная смесь личных воспоминаний, семейной истории, литературной критики и философских размышлений.

The Philadelphia Inquirer

Это, говорит нам Барнс, не автобиография. Скорее это эссе в лучшем смысле слова — точное и умозрительное, метафизическое и глубоко личное, наполненное смыслами и голосами живых и мертвых, к чьим советам прислушивается автор, шагжок за шагком приближаясь к пустоте.

Times Literary Supplement

Мастерски выписанный, дающий немало пищи для ума мемуар — ну да ничего другого от Барнса и не ждали.

The Independent on Sunday

Безмерно увлекательная книга — и провокативная в лучшем смысле этого слова.

O, The Oprah Magazine

Семейная хроника, мутирующая в развернутое размышление о страхе смерти и этом великом утешителе — религиозной вере.

Financial Times

Блестящая библия элегантного отчаяния... самый важный на свете самоучитель — который вы не можете себе позволить не прочесть.

Vogue

Эту книгу можно уподобить глубокой подземной дрожью — она отдается у вас в голове и через недели после прочтения.

The New York Times Book Review

Здесь нет ни зауми, ни покровительственного похлопывания по плечу — остроумный меланхолик просто беседует с читателем о наиболее всеобщем из человеческих страхов.

The Washington Post

Современная изящная британская словесность последних лет двадцати — это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.

Российская газета

В своем поколении писателей Барнс однозначно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.

The Scotsman

Посвящается П.

Я не верю в Бога, но мне Его не хватает. Так я говорю, когда мне задают этот вопрос. Я спросил своего брата, преподававшего философию в Оксфорде, Женеве и Сорбонне, что он думает насчет подобного заявления, не раскрывая, что оно принадлежит мне. Тот ответил одним словом: «Жеманство».

Начать надо с бабушки по маме, Нелл Луизы Сколток, урожденной Машен. Она была учительницей в Шропшире, пока не вышла за моего дедушку, Берта Сколтока. Не Бертрама, не Альберта, просто Берта: так его крестили, так звали, так кремировали. Он был директором школы, особо расположенным ко всему механическому: владелец мотоцикла с коляской, затем «ланчестера», позже, уже на пенсии, водитель довольно помпезного спортивного родстера «триумф» со скамьей на троих спереди и двумя сиденьями сзади, когда верх опускался. Ко времени нашего знакомства бабушка с дедушкой переехали на юг страны, чтобы жить рядом со своим единственным ребенком. Бабушка записалась в Женский институт¹;

¹ Общественный женский клуб по интересам: домоводство, драмкружки, спорт, социальные программы. (*Здесь и далее примеч. перев.*)

солила и закручивала консервы, ощипывала и жарила куриц и гусей, которых разводил дедушка. Она была миниатюрной, с виду мягкой и податливой, с распухшими к старости суставами; ей было не снять обручальное кольцо без мыла. Ее гардероб изобилует домашними кардиганами, дедушка предпочитал более мужественную жгутовую вязку. Они регулярно ходили на педикюр и принадлежали к поколению, в котором по совету стоматологов вырывали все зубы сразу. Тогда придерживались такого ритуала: от зубовных скрежетов и шатаний к полной фарфоризации в один присест, с последующими оползнями и клацаньем во рту, публичными конфузами и пеннистым стаканом на тумбочке.

Переход от зубов к вставным челюстям поразил меня с братом и своей серьезностью, и своей непристойностью. Но в жизни моей бабушки случилась и другая огромная перемена, которую при ней никогда не упоминали. Нелл Луиза Машен, дочь рабочего с химзавода, воспитывалась методисткой, в то время как Сколтоки были англиканцами. В какой-то момент в молодости бабушка неожиданно утратила веру и, как лакируют действительность семейные предания, обрела замену: социализм. Я понятия не имею, насколько силен был когда-то ее религиозный пыл и каковы были политические пристрастия ее родителей; все, что я знаю, это что однажды она выставляла свою кандидатуру на местных выборах как социалист и потерпела поражение. Ко времени нашего знакомства в 1950-е она выросла в коммунистку. Она, должно быть, одной из немногих пенсионеров в пригородном Букингемшире покупала «Дейли уоркер» и — как мы с братом доказывали друг другу — ловчила с семейным бюджетом, чтобы слать пожертвования в газетный «фонд борьбы».

В конце 1950-х случился Советско-Китайский Раскол и коммунисты по всему свету обязаны были выбирать между Москвой и Пекином. Для большинства преданных европейцев выбор был нетруден, как и для газеты «Дейли уоркер», получавшей финансирование вместе с директивами из Москвы. Бабушка, которая никогда не бывала за границей и жила себе в мещанской одноэтажной Англии, по неизвестным причинам решила связать свою судьбу с китайцами. Я приветствовал ее таинственное решение из явной личной выгоды, поскольку вместо «Уоркера» она теперь выписывала «Китай строится» — еретический журнал, приходивший прямиком с далекого континента. Бабушка откладывала для меня марки с коричневатых конвертов. На них обычно воспевались промышленные достижения: мосты, гидроэлектростанции, грузовики, сходящие с конвейеров, — или же разнообразные голуби, летящие символизировать мир.

Мой брат не претендовал на такие подношения, поскольку за несколько лет до этого в нашем доме произошел Филателистский Раскол. Джонатан решил специализироваться на Британской Империи. Я же, дабы подчеркнуть свое отличие, объявил, что буду коллекционировать категорию, которую я называл, как мне тогда казалось, логично, Весь Остальной Мир. Определялась эта категория только тем, что *не* собирал мой брат. Я не помню, было это решение наступательным, оборонительным или просто прагматичным. Знаю только, что оно иногда приводило к поразительным репликам в школьном филателистском клубе среди коллекционеров, еще недавно ходивших под стол пешком: «Барнси, так а что ты собираешь?» — «Весь Остальной Мир».

Мой дедушка был любителем геля для волос, и салфетка на его паркер-нолловском кресле — с высокой

спинкой и боковинами, чтобы прикорнуть, — лежала там не только для красоты. Он поседел раньше бабушки; у него были по-военному подстриженные усы, курительная трубка с металлическим черенком и кисет, который оттягивал ему карман кардигана. Также он носил неуклюжий слуховой аппарат, еще один атрибут мира взрослых — или, скорее, мира на дальнем краю взрослости, — над которым любили издеваться мы с братом. «Прошу прощения?» — орали мы друг другу, прикладывая руку к уху и надрываясь со смеху. Мы оба с нетерпением ждали бесценных моментов, когда бабушкин живот урчал настолько громко, что пробуждал дедушку из глухоты с вопросом: «Телефон, да?» После короткого сконфуженного мычания они возвращались к своим газетам. Дедушка в мужском кресле, посвистывая слуховым аппаратом и посасывая пыхтящую трубку, качал головой над «Дейли экспресс», которая описывала ему мир, где истина и справедливость постоянно подвергались Коммунистической Угрозе. А бабушка, в красном углу, в женском кресле цокала языком над «Дейли уоркер», которая описывала ей мир, где истина и справедливость в их усовершенствованных версиях постоянно подвергались угрозе со стороны Капитализма и Империализма.

Дедушка к тому времени уже сократил свою религиозную обрядовость до просмотра «Псалмов» по телевизору. Он столярничал и работал в саду, он сам выращивал табак и высушивал его в своем гараже, где также хранил клубни георгинов и подшивки «Дейли экспресс», стянутые ворсистыми бечевками. Он держал в любимчиках моего брата, учил его точить стамеску и оставил в наследство плотницкий набор. Я не помню, чтоб он чему-нибудь меня учил (или что-то мне завещал), хотя однажды мне позволили наблю-

дать за тем, как он в сарае убивает курицу. Дед взял птицу под мышку, успокоил поглаживаниями, затем положил ее шею на зеленый металлический аппарат, привинченный к дверному косяку. Опуская рукоять, он стиснул куриное тельце еще крепче, чтобы погасить финальные конвульсии.

Моему брату разрешалось не только смотреть, но и участвовать. Несколько раз ему довелось тянуть рычаг, в то время как дедушка держал курицу. Однако наши воспоминания о бойне в сарае расходятся до несовместимости. По мне, этот аппарат всего лишь крутил птице шею, для него это была маленькая гильотина. «Я четко вижу корзинку под лезвием. Я (менее четко) вижу, как туда падает голова, капает (немного) крови, дедушка ставит безголовую курицу на землю, она еще бегаёт несколько секунд...» Это моя память подверглась очистке или его заражена фильмами про Французскую революцию? В любом случае дедушка познакомил моего брата со смертью и ее неприглядностью лучше, чем меня. «Ты помнишь, как дедушка забивал гусей перед Рождеством?» (Не помню.) «Он преследовал выбранного им гуся по загону, размахивая ломом. А когда достигал ловким ударом, то, чтоб уже наверняка, он клал птицу на землю, придавливал гусиную шею ломом и дергал голову».

Мой брат помнит ритуал — я не видел такого ни разу, — который он называл Чтением Дневников. Бабушка и дедушка вели дневники по отдельности и вечерами порой развлекались, зачитывая друг другу то, что внесли туда на той же неделе несколько лет назад. Записи, несомненно, отличались известной банальностью, но часто приводили к разногласиям. Дедушка: «Пятница. Работал в саду. Сажал картошку». Бабушка: «Чушь. Весь день шел дождь. В саду мокро — работать невозможно».

Мой брат также помнит, как однажды, когда был совсем маленький, повыдергивал весь лук в дедушкином саду. Дедушка отлупил его до истошного рева, затем непривычно побелел, признался во всем нашей маме и поклялся никогда больше не поднимать руку на ребенка. Вообще-то, мой брат ничего из этого не помнит — ни лука, ни головной боли. Ему эту историю постоянно рассказывала мама. Более того, если бы он ее помнил, ему бы стоило быть осмотрительней. Как философ он считает, что воспоминания лживы «настолько, что по картезианскому принципу гнилого яблока ничему нельзя верить без подтверждения со стороны». Я более доверчив или склонен к самообману, так что продолжу, как будто мои воспоминания верны.

Нашу маму при крещении назвали Кэтлин Мейбл. Она ненавидела Мейбл и жаловалась дедушке, который объяснял, что «когда-то знал одну очень милую девушку по имени Мейбл». Я не имею малейшего представления о росте или упадке ее религиозных верований, хотя мне перешел ее молитвенник, переплетенный вместе с «Гимнами древними и современными» в мягкой коричневой замше, каждый том подписан на удивление зелеными чернилами и с датой «Dec: 25th. 1932.»¹. Я восхищаюсь ее пунктуацией: две точки и двоеточие, а точка под «th» расположена ровно посередине между буквами. Теперь такой пунктуации уже не встретишь.

В моем детстве под запретом были три традиционные темы: религия, политика и секс. Когда мы с мамой начали их обсуждать — то есть первые две, третья перманентно отсутствовала в нашей повестке, — политически она оказалась закоренелым консерва-

¹ 25 декабря 1932 г.

тором, каким, полагаю, всегда и была. Что касается религии, она мне твердо заявила, что не хочет на своих похоронах «никакой тарабарщины». Когда сотрудник похоронного бюро спросил, не хочу ли я убрать «религиозные символы» со стены крематория, я ответил ему, что она бы этого хотела.

Такое условное наклонение, между прочим, вызывает серьезные подозрения моего брата. В ожидании начала похорон мы не то что заспорили — это бы нарушило семейную традицию, — но обменялись репликами, из которых было видно, что если по своим стандартам я и рационалист, то по его — довольно хилый. Когда мама сначала обездвижела от удара, она с радостью согласилась передать в пользование внучке К. свой автомобиль, последний из длинной очереди «рено» — марки, которой она была франкофильски верна на протяжении почти полувека. Стоя с братом на парковке крематория, я искал глазами знакомый французский силуэт, как вдруг увидел, что моя племянница въезжает за рулем машины своего бойфренда Р. Я заметил — уверен, что мягко: «Думаю, мама бы захотела, чтобы К. приехала на *ее* машине». Мой брат так же мягко и логично опроверг меня. Он подчеркнул, что есть желания покойных, то есть какие-то вещи, которые некогда хотели теперь уже мертвые, и есть гипотетические желания, то есть вещи, которые они захотели бы или могли бы хотеть. «Что захотела бы мама» — комбинация последних двух: гипотетическое желание покойной, то есть вдвойне сомнительное. «Мы можем делать только то, чего хотим *сами*», — объяснил он; потрафлять маминым гипотетическим желаниям так же иррационально, как если бы он обращал внимание на собственные прошлые желания. Я предложил в ответ, что мы должны пытаться делать то, что она бы

хотела: а) поскольку должны же мы делать *что-то*, и это что-то (если мы не оставили ее тело просто гнить в глубине сада) подразумевает выбор, и б) поскольку мы надеемся, что, когда мы умрем, другие сделают то, чего в свою очередь хотели бы мы.

Я редко вижу с братом и потому часто поражаюсь тому, как устроен его мозг, но он говорит совершенно искренне. Пока я вез его в Лондон с похорон, у нас случился еще более странный — для меня — разговор про мою племянницу и ее бойфренда. Они довольно долго встречались, потом временно разошлись, и К. закрутила с другим. Брату и его жене этот новенький сразу же не понравился, и моя невестка, как следует, целых десять минут ему «выговаривала». Как она ему выговаривала, я не стал спрашивать. Вместо этого я спросил: «Но ты же одобряешь Р.?»

«Одобряю я Р. или нет — абсолютно не важно», — ответил брат.

«Конечно же важно. К., возможно, хотела бы, чтобы ты его одобрял».

«Напротив, возможно, она хотела бы, чтобы я его *не* одобрял».

«Но в любом случае нельзя сказать, что для *нее* не важно, одобряешь ты его или нет».

Он задумался на секунду. «Ты прав».

Из этого разговора, пожалуй, видно, что он старший брат.

Моя мама не высказывалась относительно музыки, которую она хочет на свои похороны. Я выбрал первую часть фортепианной сонаты Моцарта ми-бемоль мажор, KV 282 — одной из тех пьес, что долго и величаво сворачиваются и разворачиваются, оставаясь торжественными даже в оживленных фрагмен-

тах. Казалось, она длится минут пятнадцать вместо заявленных на обложке семи, и я даже начал подозревать, что заиграла еще одна моцартовская вещь или крематорский CD-проигрыватель перескочил на начало. За год до этого я выступал в передаче «Диски необитаемого острова», где из Моцарта выбрал «Реквием». После передачи мама позвонила и поставила мне на вид, что я назвал себя агностиком. Она сказала, что так же называл себя папа — в то время как она была атеисткой. Звучало это так, будто агностицизм был размытой либеральной позицией, в отличие от истинной, как невидимая рука рынка, реальности атеизма. «И что это за разговоры о смерти, кстати?» — продолжила она. Я объяснил, что мне не нравится сама идея. «Ты прямо как твой отец, — ответила она. — Может, дело в возрасте. Доживешь до моих лет, так волноваться уже не будешь. Лучшее в жизни я уже повидала. И вспомни Средние века — тогда продолжительность жизни была действительно низкой. А теперь мы живем семьдесят, восемьдесят, девяносто лет... Люди верят в религию только из-за страха смерти». Это было типичное для моей мамы заявление: четкое, пристрастное, явно нетерпимое к возражениям. Ее семейное главенство и уверенность в вопросах мироздания удобно все проясняли, когда я был ребенком, ограничивали в юности и нестерпимо утомляли в моей взрослой жизни.

После ее кремации я забрал диск Моцарта у «органиста», который, я вдруг подумал, теперь получает полное жалование за то, что ставит запись с компакт-диска. С отцом прощались за пять лет до этого в другом крематории, где настоящий органист честно отработывал свой гонорар Бахом. Отец бы «этого хотел»? Думаю, он был бы не против; он был мягким человеком либеральных взглядов, не слишком интересовавшимся музыкой.

В этом вопросе, как и в большинстве случаев, он — не без многочисленных тихо-ироничных ремарок — положился на мнение своей жены. Его гардероб, дом, в котором они жили, их машина — все решения были ее. В пору непримиримой юности я осуждал его как слабака. Позже я считал его конформистом. Еще позже — человеком автономным в своих взглядах, но не желающим разводить споры.

Первый раз, когда я попал в церковь со своей семьей — на свадьбу родственника, — я был поражен, когда папа рухнул на колени перед скамьей, закрыв ладонью глаза и лоб. *Это-то* откуда, спросил я себя, перед тем как вполсилы симитировать жестами благочестие, незаметно скрестив пальцы.

Это был один из тех моментов, когда вы удивляетесь родителям — не потому, что узнали о них что-то новое, но поскольку открыли для себя новую территорию собственного невежества. Проявлял ли отец таким образом учтивость? Думал ли он, что, если просто плюхнется на свое место, его примут за атеиста в духе Шелли? Понятия не имею.

Он умер современной смертью: в больнице, без семьи, разделив последние минуты с сиделкой, месяцы, даже годы спустя после того, как медицина научилась продлевать жизнь до состояния, когда условия, на которых ее предлагали, уже особенно не вдохновляли. Мама виделась с ним за несколько дней до этого, но затем слегла с опоясывающим лишаем. В последний ее визит он был очень растерян. Она характерным образом спросила его: «Ты знаешь, кто я? Потому что в последний раз, когда я приходила, ты не понимал, *кто я такая*». Отец так же характерно ответил: «Я думаю, что ты моя жена».

Я отвез маму в больницу, где нам выдали черный пластиковый пакет и кремовую сумку. Она быстро

разобралась с обеими, точно зная, что она хотела забрать, а что оставить в больнице. Как плохо, сказала она, что он так и не поносил большие коричневые тапки на липучке, которые она ему купила месяц назад; незаметно от меня она унесла их домой. Она пришла в ужас, когда ей предложили взглянуть на папино тело. Она рассказала мне, что, когда дедушка умер, бабушка была «бесполезна» и маме пришлось заниматься всем. И только в больнице возобладал какой-то атавистический или родственный инстинкт, и бабушка настояла, чтоб ей показали тело мужа. Мама пыталась разубедить ее, но та и слушать ничего не желала. Их отвели в демонстрационную морга и предъявили дедушкин труп. Бабушка повернулась к маме: «Отвратительно выглядит, правда?»

Когда мама умерла, похоронный распорядитель из соседней деревни спросил, хотят ли родные видеть тело. Я сказал «да», мой брат — «нет». На самом деле его ответ — когда я позвонил с этим вопросом — был: «Господи, конечно же нет. Здесь я соглашусь с Платоном». У меня в голове не было текста, на который он ссылался. «А что говорил Платон?» — спросил я. «Что он не верит в мертвые тела». Когда я пришел один в похоронную контору, которая располагалась в дальнем конце помещения местной грузовой компании, директор сказал извиняющимся тоном: «Боюсь, она сейчас в задней комнате». Я посмотрел на него вопросительно, и он объяснил: «Она на тележке». Я, не раздумывая, ответил: «Ну что вы, она и не настаивала на церемониях», хотя едва ли мог точно угадать, чего бы она хотела или не хотела в подобных обстоятельствах.

Она лежала в маленькой светлой комнате с распятием на стене; когда я вошел, она действительно была на тележке, затылком ко мне, избегая таким образом встречи лицом к лицу. Она казалась ну очень

мертвой: закрытые глаза, приоткрытый рот, больше слева, чем справа, как это было в ее духе — она час­тенько держала сигарету в правом уголке рта, а раз­говаривала противоположным, пока столбик пепла не приобретал угрожающие размеры. Я попытался пред­ставить себе, что же она понимала, насколько это возможно, в момент угасания. Это случилось через несколько недель после того, как ее перевели из боль­ницы в дом престарелых. К тому времени она уже по­ложительно сошла с ума, ее сумасшествие было раз­ных видов: в одном она продолжала считать себя главной, постоянно попрекая сиделок за воображае­мые провинности, в другом, признавая полную утра­ту влияния, она снова была ребенком, все ее мертвые родственники — живыми, а то, что только что сказа­ли ее мама или бабушка, — крайне важным. Перед ее сумасшествием я часто выключался во время ее со­липсических монологов; теперь она неожиданно ста­ла болезненно интересной. Я не уставал удивляться, откуда же все это берется и каким образом мозг про­изводит эту поддельную реальность. И у меня уже не было никаких сожалений, что она желала разгова­ривать только о себе.

Мне сказали, что в момент смерти рядом с ней бы­ли две сиделки, которые затем перевернули ее, как только она «отошла». Мне хочется думать — потому что для нее это было характерно, а люди должны уми­рать так же, как жили, — что ее последняя мысль бы­ла адресована себе самой и была чем-то типа «Ну да­вай уже». Но это сентиментальность — то, что она бы, возможно, хотела (или, скорее, то, что я бы хотел для нее), и, может быть, если она вообще что-то думала, то представляла себя снова маленькой девочкой, ко­торую переворачивают в горячечной постели пара дав­но умерших родственников.

В похоронном бюро я несколько раз дотронулся до ее щеки, затем поцеловал в волосы. Она была такой холодной, потому что выехала из морозильника или потому что все покойники естественным образом холодные? И нет, она не выглядела отвратительно. С макияжем не переборщили, и ей было бы приятно знать, что волосы элегантно уложены. («Разумеется, я никогда их не красила, — однажды хвасталась она невестке. — Это мой природный цвет».) Желание увидеть ее мертвой происходило, признаюсь, скорее из писательского любопытства, нежели из сыновних чувств; но пора было и попрощаться, несмотря на все мое долгое раздражение, с ней связанное. «Молодец, мама», — сказал я тихо. Она действительно разобралась с «умиранием» лучше, чем отец. Он перенес серию ударов, его уход растянулся на несколько лет; она проделала путь от первого криза до смерти эффективнее и быстрее. Когда я забирал пакет с ее одеждой из социального дома (что раньше всегда вызывало у меня вопрос, как же должен выглядеть дом «асоциальный»), он оказался тяжелее, чем я ожидал. Сначала я обнаружил там непочатую бутылку шерри, а затем, в квадратной картонке, нетронутый торт, купленный деревенскими друзьями, которые приходили к ней на ее последний, восемьдесят второй день рождения.

Отец умер в таком же возрасте. Я всегда представлял себе, что его смерть будет тяжелее для меня, потому что я любил его сильнее, в то время как к матери мог в лучшем случае испытывать симпатию с изрядной долей раздражения. Оказалось все наоборот: то, что я ожидал как более легкую смерть, оказалось сложнее и опаснее. Его смерть была просто его смертью, ее смерть была смертью их обоих. И последовавшая уборка в доме превратилась в эксгумацию семьи,

которой мы когда-то были, — не то чтобы мы и вправду были семьей после первых тринадцати-четырнадцати лет моей жизни. Теперь, впервые в жизни, я изучил содержимое маминой сумочки. Кроме обычных вещей, там хранились вырезка из газеты «Гардиан» со списком величайших английских крикетистов после Второй мировой (хотя она никогда не читала «Гардиан») и фотография пса Макса из нашего детства, золотистого ретривера. На обороте незнакомой рукой было выведено «Maxim, le chien»¹ — наверное, снимок был сделан или, по крайней мере, подписан в начале 1950-х П., одним из французских *assistants* моего отца.

П. был родом с Корсики, беззаботный парень с привычкой, которая казалась моим родителям типично галльской, просаживать месячную получку за день. Он приехал к нам на несколько дней, пока не найдет жилье, и в результате остался на целый год. Мой брат, зайдя однажды утром в ванную, обнаружил перед зеркалом для бритья незнакомою мужчину. «Если уйдешь, — сообщило ему лицо в мыльной пене, — я расскажу тебе историю про мистера Бизи-Визи». Мой брат ушел, и П., как выяснилось, знал массу приключений, выпавших на долю мистера Бизи-Визи, ни одно из которых я не помню. Также в нем была артистическая жилка: он соорудил железнодорожные станции из коробок от хлопьев, а однажды преподнес моим родителям — возможно, вместо арендной платы — два написанных им пейзажика. Все детство они висели у нас на стене и поражали меня невообразимым мастерством, но тогда все отдаленно похожее вызывало такой же эффект.

¹ Пес Максим (*фр.*).

Что до Макса, то он либо сбежал, либо — поскольку мы не могли себе представить, что он желал добровольно покинуть нас, — его похитили, вскоре после этой фотографии, однако, куда бы он ни отправился, он и сам, наверное, уже лет сорок как умер. Папа был бы «за», но мама так и не завела собаку.

Учитывая историю моей семьи, где истощенная вера соседствовала с бодрым неверием, я мог бы, из подросткового непослушания, удариться в благочестие. Но ни агностицизм отца, ни атеизм матери не были явно выражены и тем более не ставились мне в пример, так что, возможно, они не оправдывали бунта. Полагаю, я мог бы, представься такая возможность, стать иудеем. В школе, где я учился, из 900 мальчиков где-то 150 были евреями. В целом они казались более развитыми в общении и сведущими в вопросах моды: обувь у них была получше — один мой ровесник даже щеголял в полусапожках с резинками по бокам, — и они кое-что знали про девушек. Еще у них были дополнительные праздники — очевидное преимущество. К тому же это обязательно шокировало бы моих родителей, склонных к легкому антисемитизму, свойственному их возрасту и классу. (Когда в конце какой-нибудь телевизионной постановки в титрах появлялась фамилия вроде Аарансон, один из них мог заметить с кривой усмешкой: «Еще один валлиец».) Но это не означало, что они вели себя как-то иначе с моими еврейскими друзьями, одного из которых, как казалось, по заслугам, звали Алекс Бриллиант¹. Сын табачного киоскера, он уже в шестнадцать читал Витгенштейна и писал стихи, пульсировавшие двойными, тройными, четверными — как

¹ Brilliant (*англ.*) — блестящий.

коронарные шунтирования — смыслами. Он лучше меня успевал по английскому и получил стипендию в Кембридже, после чего я потерял его из виду. Многие годы я периодически воображал себе его непременный успех в гуманитарной области. Уже после пятидесяти я узнал, что биография, которую я ему придумывал, была пустой фантазией. Алекс наложил на себя руки из-за женщины — наглотавшись таблеток, когда ему было под тридцать, половину моей жизни назад.

Так что во мне не было веры, чтобы ее потерять, я лишь сопротивлялся, на самом деле менее героическим образом, чем мне тогда казалось, мягкому режиму богопочитания, установленному в английском образовании: уроки Писания, утренние молитвы и гимны, ежегодная благодарственная служба в соборе Святого Павла. Вот и все, кроме роли Второго Пастуха в вертепе, которую мне доверили в начальной школе. Меня не крестили и не отправили в воскресную школу. Я в жизни ни разу не присутствовал на обычной церковной службе. Я хожу на крещения, венчания, панихиды. Я постоянно захожу в церковь, но из архитектурных соображений и в более широком смысле — чтобы понять, какой когда-то была английская жизнь.

Литургический опыт моего брата незначительно больше моего. Будучи скаутом-«волчонком», он сходил на несколько обычных церковных служб. «Я припоминаю, что был поражен, я чувствовал себя антропологом среди антропофагов». Когда я спросил его, как он потерял веру, брат ответил: «Я никогда ее не терял, потому что у меня ее не было. Но я понял, что все это чепуха, седьмого февраля пятьдесят второго года в девять утра. Мистер Эббетс, директор Дервентерской начальной школы, объявил нам, что ко-

роль умер, что он вознесся на небо, к вечной славе и счастьем с Господом, и вследствие этого мы все будем носить черные повязки в течение месяца. Я подумал, что здесь что-то нечисто и Как Же Я Был Прав. С моих глаз не слетела никакая пелена, не было никакого чувства утраты, ничто не оборвалось и так далее. Я надеюсь, — добавляет он, — что так оно и было. Воспоминание у меня очень ясное и устойчивое, но ты же знаешь, что такое память».

Когда умер Георг VI, моему брату только исполнилось девять (мне было шесть, я ходил в ту же школу, но я ничего не помню ни про речь мистера Эббетса, ни про черные повязки). Мое прощание с остатками, с возможностью религии случилось в более позднем возрасте. Подростком, скрючившись над какой-нибудь книжкой или журналом в ванной комнате, я все время говорил себе, что Бог никак не может существовать, поскольку сама идея, что он может следить за тем, как я мастурбирую, была абсурдной; еще более абсурдной казалась возможность, что все мои покойные предки выстроились рядком и тоже следят за мной. У меня имелись и другие, более рациональные аргументы, но окончательно расправилось с Ним именно это убедительное ощущение — небескорыстным образом, разумеется. От мысли, что бабушка и дедушка наблюдают за тем, что я собираюсь предпринять, у меня и вправду могли опуститься руки.

Вспоминая это теперь, я задаюсь вопросом, почему же я не предполагал другие сценарии. Почему я считал, что Бог, если он действительно следил за мной, обязательно осуждал то, как я проливаю семя свое? Почему мне не приходило в голову, что если небеса не обрушились от вида того, как я истово изнуряю себя, то, вероятно, оттого, что небеса не считали